

Идти, едва касаясь локтя...

Алле Салтайс

Идти, едва касаясь локтя,
расчеловеченным бульваром,
газетные футболить ключья,
дыша машинным перегаром.
Но локоть рядом, два-три слова
равны старательной беседе,
и птицы стоят дорогого,
и мальчик на велосипеде.

Арбат подонист и купечен,
туристы в маршальских фуражках,
уже и удивляться нечем,
старуха держит пиво в ляжках.
Рисует помазком художник
смазливую провинциалку,
жрут мойву два хрыча таёжных,
бредёт бедрастая вразвалку.

А локоть что-то хочет молвить,
он тычется пониже бока,
и будто утешает: мол, ведь
всё это до поры, до срока...

Вечер в сентябре

Снова осень с вялой пчелой и лиственной рванью.
Мокрый шум, тополя, собаки и ноль луны.
Вечер чист, как старик, убранный к отпеванью.
Ветер,
 колются звёзды,
 веки воспалены.

Что ушло, — теперь намертво определилось.
Время — ветром в лицо, морщит кожу у глаз.
Жизнь моя, ломкая малость и огромная милость,
ты была, ты хоть как-то, жизнь моя, удалась?

Отвечает: зачем печься о том, что было?
Видишь: ветер, костёр, лиственный непокой.
Раздели без забот участь пепла и пыла.
Жизнь в тебе и ты в ней — вымыслом и тоской.

Ветер, дымит костёр, влажное продолженьё
времени, — тучи летят ли, ты ли в завтра летишь?
Жизнь моя, просто так — всё это одолженьё?..
Вечер чист, как продрогший в мокром саду малыш.

Голубь в окне

Голубь в окне, на обыденность нашу глядящий, —
уж не с известьем ли он, что просрочены сроки?
Всё обойдётся, надеюсь, и город галдящий
милостью неба очнётся от горькой мороки.
Всё ещё спят акварели твои и гуаши.
Что бы тебе оживить поседевшие кисти?
Голубь в окне, озирающий помыслы наши, —
к нам он наведалься только из птичьей корысти?
Что ему надо, голубчику, — только ли крошек?
Всё же, надеюсь, не с бухты-барахты в окне он.
Уж не затем ли он жёсткие перья ерошит,
что ниспославший его не на шутку разгневан?
Что же мы вызов своим огорченьям не бросим?
Тихим отчаяньем сами себя уморили...
Скоро ли снег обелит нашу грязную осень?
Только и радости всей — русский профиль Марии.

Краюшка памяти

Глотком воды я вспомнил ржавый бак
и кружку на цепи, сырой барак
и голод, походящий на простуду, —
Урал и голод, в животе и всюду.

Война.
Не думать о еде.
Но как?

Накрывшись одеялом с головой,
я вызывал виденья.

Мне казалось,
есть нечто,
что испытывает
жалость

к моей здоровой
хворости живой.

Я думал: посильнее захоти,

и, добрая,
затеплится в горсти
спасительная
тяжесть —
в забытьи

я говорил: ну что ж, начну сначала —
сейчас я досчитаю до пяти...

Но сила сытая не отвечала.

То униженье, вроде ворожбы,
отчаянные детские мольбы
о покровительстве у силы некой

(ведь что-то
нам должно
служить опекой,
когда мы неумелы
и слабы!) —

всё это оскорбление судьбы
живёт во мне видением постылым,
как ненависть к тупым и тучным силам,

оставившим свои глазищи рачьи
на малышей, заждавшихся удачи,
но как во сне зубами ни скрипи,

а наяву — пустынная посуда
и голод,

долгий,
тяжкий,

как простуда,

да ржавый бак с водою на цепи.

Сегодня там война

Был к морю этот город пришвартован,
дома дымили в нём, как корабли,
и в сумерках казалось, что готов он,
отчалить от приевшейся земли.

Здесь вкусный воздух, остаёмся — ладно?
Цикадами зашелестела мгла,
когда — за рубль — старинная веранда
с откоса нас к созвездьям понесла...

Твой шёлковый затылок, как бельчонок,
устало на моей ладони спит,
и в лунной полумгле так явен стыд
твоих насторожённых плеч точёных.

То мятою пахнёт, то сонным сеном,
в ногах горячим тестом пухнет кот.
И рядом — тихим зверем сокровенным —
клекочущий прибор в ночи живёт...

Невесть, зачем, в два года раз, не чаще, —
та ночь всё ставит на свои места:
в её небытии — всё настояще,
и ты в ней так тревожна и чиста.

Сегодня там война, и плачут дети,
и город тот в страданиях изнемог.
И кажется, что не было на свете
твоих,

в меня вплетающихся ног...

Твои светло-русые волосы...

Маше

Твои светло-русые волосы с медовым отливом,
забранные в пучок двадцать семь лет,
в разлуке с тобой делают меня счастливым,
зажмурюсь — и вижу волос твоих свет..
Почему именно сегодня я подумал об этом?
Может, потому что с утра за окнами льёт,
и дерево — мокрым зелено-жёлтым букетом —
почти такое, как в Жевнево в третий наш год.

В той пойме под вечер тихо пахла душица,
и был розово-голубоватым над заводью пар.
Там поныне твой потерянный крестик таится.
Впрочем, он был католический, вот и пропал.

Похоже, всё с людьми не единожды: вот ведь
ты до сих пор для меня душистая близкая даль,
догадка о чём-то вечном, каждодневная отповедь
Времени, чьё пространство — вовсе не календарь.

Закат на тресковом мысе

Марине и Саше Зельфонд

Съезжаются ближе к вечеру снимать недолгий закат,
глушат моторы, ставят камеры на откосе у океана,
откупоривают вино, целуются и смотрят за так
спектакль, — он развивается сиренево-лилово-багряно.

Он такой же почти, каким был до звероподобных орд,
до эволюций, революций, зондеркоманд и озона,
и целоваться при нём, косясь на запад, — тихий восторг,
и вино при нём — не мерло, а не хуже «Дом Периньона».

Это длится недолго и снова всё, что окрест,
обретает сиюминутность, и над Тресковым мысом
вихляется рэп, и вновь от мерло не пьян и не трезв.
Лишь поцелуи всё так же наделены особенным смыслом.

Зимняя разлука

Маше

Заиндевелый день мохнатой
тридцатиградусной зимы,
текучей белой колоннадой
стоят над Тушино дымы...
Зачем я отдал этой стуже
твой тонкогубый жаркий рот,
бровей белёсых полукружья
и прядок палевых разлёт!
Каким вернётся мне для ласки
от ледяных колючих пик
твой флорентийско-ярославский,
неповторимо русский лик?
Все краски вымерзли и звуки.
Так славно тишину беречь
морозным этим днём, в разлуке
с теплом твоих пугливых плеч.